

ОТМОРОЗОК

Рассказ

Он открывает глаза, смотрит в темноту, в смутно белеющий потолок — и пыльная дорога ложится перед ним, ползет, мерно покачивая линию горизонта.

Два часа на броне, легкие по горло забиты песком, язык и губы в трещинах, как черная сухая земля вокруг. Солнце, мутное и холодное, нервно рожденное застывшей землей, наливается жаром, шлет горячие лучи на лесистые волны предгорий, накаляет броню, согревает солдат.

Утробно взревев и выбросив удушливое облако выхлопа, головной резво поворачивает, скрежеща траками по щебенке, кивнув стволом, скатывается в кювет, ползет по глубокой натруженной колее среди голого перелеска. Колонна послушно вытягивается за ним. В стальных отсеках уже напялили каски, сидят запыленные, со стеклянно-бессмысленными глазами, зажав автоматы между коленей, чутко прислушиваются сквозь гул к доносящимся извне звукам. Как хочется туда, на солнце, на зной! Эта коробка — стальной гроб — сгорает за полминуты, так и зовется БМП¹ — братская могила пехоты.

Но вот уже мерный рокот движков сбивает другой звук, натужный, завывающий. Покачивание прекращается. Смотрят друг на друга остановившимися зрачками. Что-то случилось. Короткая команда — и они выпрыгивают через кормовые двери в неглубокий придорожный ровик. В чем дело? Все: колонна встала; чадят сизым выхлопом движки на холостом ходу. Отчетливо видно — к головному откуда-то с возвышенности движется яркая красная точка, и через мгновение вверх взметается черно-огненный факел. Со всех сторон разом обрушивается грохот. Частит где-то рядом крупнокалиберный, слышатся хлопки разрывов. Тонкие длинные трассеры свиваются в пучок, пляшут, расходятся веером и вновь

¹ БМП – боевая машина пехоты.

соединяются на вершине гряды, бьются о валуны, взлетают вверх косыми брызгами, падают и, все еще догорая, прыгают с камня на камень алыми дрожащими огоньками...

Выныривая из засасывающей глубины, он стискивает зубы — шум боя постепенно отдалется, затихает, сменяется тишиной ночной квартиры. Приподнимается, тянется к заветной пачке “Золотой Явы”.

На темной шероховатой стене лежат ровные отблески уличных фонарей, продолговатой полоской горит пластмассовая линейка на письменном столе. Все повторяется: обстрелы, окопы, вши, “двухсотые”. Все повторяется.

Он зло осклабляется, с треском чиркает спичкой, и два огонька мелькают в заблестевших глазах. Вздрагивает всем телом — у дверного косяка стоит мать.

— Сынок, ты бы не курил столько! Куда ж это годится — смолишь и смолишь!

— Мам! — хочется выругаться. — Иди спать!

— Ох, Господи, Господи! И за что же мне горе-то такое.

Шаркают тапочки. Причитания удаляются.

Нестерпимо ломит в затылке. Как все осточертело, кто бы знал! Он выходит на балкон, жадно глотает кисловатый дым.

Ночной город тих; в бледном свете фонарей мокро блестит асфальт; слабый ветер несет неясные запахи лета, какие-то тревожные сполохи в душу. Где-то бренчит гитара, слышится визгливый девичий смех.

Сиреневый забор, запахи воды, тополя; глинистая тропинка, яркая, умытая зелень; грозовое небо — коричневое и зеленое, оттененное черным, какой-то отзвук счастья. Откуда это всплыло? Из какой жизни?

Слепые фасады бетонных жилищ словно вырезаны из картона. Он всматривается в черные проемы окон. За ними живут, растят смену, заботятся, оберегают в болезнях, говорят правильные слова. Зачем? Если чадо наедет потом в железной коробке танка на фугас, и от него останутся ошметки окровавленного мяса,

облепленные мухами? Смеются, катаются на чистых простынях, а там, там...

Жаркий полдень наполнен звуками: шорохом одежды, тяжелой одышкой, толчками крови в висках, громким хрустом песка под ногами, приглушенным побрякиванием амуниции, глухими голосами.

Быстро оглядываясь, готовые ко всему, забегают в большой, под изломанной тенью дерева дом. Только что отсюда бил пулемет, постреливал снайпер, потом стихло. В узком сумрачном коридоре шибанула в нос пороховая вонь. Пусто и тихо. Слышны где-то там, в отдалении, шум, крики, стрельба. Сержант, его замкомвзвода, делает несколько стремительных неслышных, звериных прыжков и, вскинув ствол автомата, пинком высаживает дощатую дверь, бросает гранату. Бу-хх! — рвется за стеной, сотрясаются перекрытия, с потолка сыплется труха, лопается дверь, и из проема валят клубы пыли. На темном полу валяются тряпки, бумажные коробки, грязная повязка, звенят под ногами стреляные гильзы. “Падддло!” — описав автоматом полукруг, сержант вылетает в коридор и мчится к другой двери. Дико озираясь, он бежит за ним. Еще одна дверь с треском отлетает в сторону. Он заскакивает в комнату и натывается головой на сержантское плечо. Тот нервно оборачивается с искаженным лицом, глаза бешено блестят в сумраке белками. Хрипит: “Ты что, Земляк, ослеп?!”

В тесной комнате с заставленным фанерой окном, на полу, сидит одетая в фасонистый спортивный костюм молодая женщина. На левом плече, среди ярких цветных полосок, — бурое расплзающееся кровавое пятно, в глазах — ненависть.

Сержант секунду колеблется, не сводя с нее выцветших глаз, рвет непослушными, прыгающими пальцами ширинку.

— Сейчас мы эту “белую колготку” пустим по назначению... Сейчас... По очереди: я, потом ты... Иди, посеки за шухером в коридор.

Согнувшись, как от боли в животе, он пятится к выходу, прикрывает дверь и тотчас слышит отчаянный вскрик, глухое

кляцанье упавшего автомата, возню, звериный взмык сержанта. Что-то не так, не так. Так... Он медлит. Медлит. С колотящимся сердцем толкает осевшую на петлях дверь.

У окна, скребя сорванными ногтями пол, бьется, перебирает ногами сержант, мусолит губами красную пену: над ключицей торчит фигурная рукоятка американского спецназовского тесака. Оцепенев, он переводит взгляд на снайпершу и опять натывается на эти ненавидящие глаза, темные и бескрайние, как выжженная земля. На дрогнувших ногах он делает шаг. Шорох ветра в окне, дальнюю стрельбу заливают бешеный гул крови. Тело покрывается язвящими каплями пота, липнут пальцы к рукоятке автомата. Безмолвно кружатся золотистые мухи, — их все больше и больше. В груди мягко вспухает ком тошноты. Он медленно поднимает ствол и выпускает очередь ей прямо в лицо...

Слюдяные квадраты окон слепы. Оранжевым сигаретным огоньком мигает светофор на перекрестке. Резко очерченные листья колышутся в пятнах света.

“Господи, за что же мне горе-то такое”, — навязчиво крутится в голове.

Коричневое и зеленое. Сиреневый забор. Как это она сказала? “Я не могу больше с тобой встречаться. У тебя руки по локоть в крови”. И точка. Все уже взвешено и решено без тебя. Прекрасные глаза блестят отвращением, дрожат тонкие ноздри. Эх, девочка! Ты правильная: лелеешь свое драгоценное тело в красивой одежде; душ два раза в день, питающий кожу крем; искусный макияж на лицо. Все твои движения рассчитаны, каждый взгляд имеет цену, интонации — о, тут целая палитра — от воркующей, доверительной до звенящей. А знаешь ли ты, как смердит двуногое после недельного рейда, изъеденное потом и вшами? Как хочется жрать и спать? Спать, спать, спать. Само это слово с сипящей, как змея, согласной способно, кажется, повалить замертво.

Ты, конечно, права: мы не можем больше встречаться. Ты чистенькая, незапятнанная. Я тоже мог быть таким. Но мне не оставили выбора: священный долг, конституционный долг. Будь

они неладны со всеми своими долгами, пусть отдадут их сами — теперь-то я уже никому ничего не должен. Однако я стал не таким как все, и нам нельзя больше встречаться... Только почему-то муторно смотреть в твои ледяные глаза...

Дом затих. Только заходится в надрывном кашле старая соседка за стеной. Только где-то далеко размеренно отбивают время настенные часы. Одни. Затем еще дальше, в глубинах многоэтажки, другие.

Серое небо в оправе окна, словно загрунтованный холст, ждет первых штрихов дождя. Хриплый вороний крик доносится отрывисто.

В сизой комнате все предметы потеряли форму. Они те же и не те — словно сжались, замкнулись в себе, ждут чего-то от него. Лучше не открывать глаза. Нет ни сил, ни желания двигаться, входить в наступающий день.

Не ждать ничего.

Не видеть измученную мать.

Милая, милая! Об этом ли мечтал, когда ранним-ранним утром сошел по выщербленным ступеням с платформы?

Повстречался улыбчивый сосед.

— Что, солдат, отслужил?

— Да.

Только пролился дождь: все еще накрапывало. На голых ветвях стеклянными шариками подрагивали дождевые капли. Пахло набухшими почками и влажной корой.

Черная, жирная земля, истекающая влагой томления. Полынная горечь коры и дождь, дождь! Неторопливый, хрустально-прозрачный: капли звонко шлепали по асфальту, по лужам, шуршали в ветвях. Деревья и дождь. Сколько же он не чувствовал этого: полгода, год, целую жизнь?

Трескался панцирь пропыленной души.

Старая ветла зашевелилась и протянула к нему мокрые руки. Птицы возбужденно галдели, глядя на него.

Медленно-медленно он побрел вдоль улицы. Промокшие стоглазые дома, угрюмо насупившись, изучали его: еще один вернулся. Да. Вернулся! ВЕРНУЛСЯ.

Только что-то поташнивает, лоб взмок. Снять кепку и подставить лицо под колючие капли. Неужели это все? Неужели все и было здесь, как всегда, буднично и размеренно, пока они там, ТАМ, — бегали, матерясь, стреляли, извивались, смердели. Неужели эта улица не съжилась, не искривилась, не пошла трещинами боли?

Все так же. Он огляделся. Тело дышало, мерно вздымалась грудная клетка под пятнистым сукном камуфляжной куртки; побледневшая кисть, судорожно сжавшись, надежно держала портфель-дипломат.

Старое здание школы таилось за хитросплетением голых яблонь. Здесь когда-то... Было или не было? Когда-то шустрый паренек в неказистой одежде лазал по этим корявым стволам, выискивая яблоки покрупнее, с красно-рыжими полосками на боку. Но все равно они потом оказывались несладкими, с травянистым привкусом.

В окнах первого этажа растекались желтые кляксы электрических ламп. Скоро сюда придут люди. Строгие, серьезные и всезнающие — будут учить жить. Только он сюда уже не придет. Его нет в живых. Он исчез тогда, выблевал себя самого в той крошечной комнатушке, усыпанной гильзами от снайперской винтовки.

Он постоял у ворот, рассеянно наблюдая, как капли разбивают маленькие зеркала лужиц. Пошел к своему дому. Нырнул в темную пасть подъезда, вызвал лифт. Поднялся на нужный этаж. Замер у двери: как знакома эта табличка с треснутой цифрой!

За дверью слабо жужжала электробритва. Видно, отец собирался на работу. Глубоко вдохнул и утопил кнопку звонка.

Дверь распахнулась — в проеме показалось лицо. Немного странное лицо: черты знакомы и чужи. Отец что-то выкрикнул, стиснул руками. Из боковой двери выбежала мать. Запричитала. И ЭТО ВСЕ? Он будто окаменел. Столько раз вызывал в воображении эту сцену, думал, захлебнется от слез... Поставил дипломат.

— Ну, где моя комната?

Вошел. Мать что-то взახлеб говорила за спиной. Какая крошечная. Она ли это? Она, она: знакомый диван, те же обои, старый шкаф. На стенах выцветшие плакаты рок-групп. “Алиса”, “Куин”, “Роллинг стоунз”. Здесь обитал парень, любивший рок!

Окапало холодное недоумение предметов. Настольная лампа яростно сопротивлялась насилию, выплеснула, наконец, на полировку стола желтую лужицу света. Со стены смотрели в упор настороженные глаза Высоцкого: “Кто ты такой? Что тебе здесь нужно?”

Шкаф закрипел от злобы, пропуская в свое нутро. Двумя пальцами он брезгливо приподнял безвольно висевшие джинсы, рассмотрел поближе. Вытертый пояс, побелевшие колени с лучиками складок вызывали отвращение: они пропитаны потом другого человека!

Закрыв дверь перед носом у матери.

— Извини, я немного отдохну.

Не снимая куртки, обессиленно рухнул на жалобно звякнувший пружинами диван...

Через час испуганно открыл глаза — а были ли эти два года в сапогах и, в особенности, - эти шесть последних огневых месяцев?..

Лучше не открывать глаза. Лучше не видеть ничего.

В глубине квартиры, на кухне, мать гремит посудой: готовит завтрак любимому сыночку. Жизнерадостно играет радио — из пластмассовой коробки раздаются возбужденные неживые голоса.

В прихожей чуть слышно шелестит телефон. Робкий стук в дверь, как гром. ОПЯТЬ ОН КОМУ-ТО НУЖЕН.

— Сына? Ты не спишь? Тебя к телефону.

— Кто там еще?

— Сослуживец твой, Сергей, что ли.

Доставали! Звонят, теребят. К черту всех!

— Я сплю!

— Сынок, уже второй час. Я сказала, что позову, но если...

— Ладно, сейчас иду.

В голове переливается какой-то звон.

— Слушаю.

— Привет, братишка! Дрыхнешь, что ли? Разбудил?

— Привет. Да ничего, просто лежу. Башка что-то мутная.

— Ха! Птичья болезнь — перепил? Слушай, Земляк, ребята собираются, так что подгребай. Как раз подлечишься!

— Когда?

— Да хоть через часик подъезжай ко мне.

С тихой ненавистью он кладет трубку. Ведь не хотел же никуда идти! Но разве его оставят в покое? Разве оставят? Опять выдернули. Опять! Что им всем от него нужно?

Включив кран, несколько секунд он смотрит на блестящий стержень воды, разбивающийся о голубой фаянс раковины. Может, не идти? Уличная толчея — все эти самодовольные или угрюмые рожи.

Умывшись, бесшумно он проходит в коридор, надевает кроссовки, берется за дверную ручку. В спину ударяет материн голос.

— Ты куда?

— Прогуляюсь.

— А кушать? Все уже на столе.

— Потом.

Он стремительно захлопывает дверь, успевая услышать приглушенные вздохи. В ярости сбегает по лестнице. Что им всем от него нужно?!

Из-за облаков выглядывает солнце. Асфальт блестит как черный лакированный гроб.

За стеклом газетного киоска лежат яркие книжицы. Он зачем-то подходит, сощурившись, читает: “Внешность и судьба”, “Секреты красоты”. Внешность и судьба? Судьба и... внешность... В голове плещутся мутные волны. Они связаны? Бред! Конечно, нет! Конечно, да! На глянцевых обложках журналов изображены полуголые ухмыляющиеся девицы. Он приближает глаза к стеклу: да, это та самая топ-модель, победительница какого-то там конкурса. Внешность и судьба связаны, красота и судьба связаны: красоту можно выгодно продать и тем облегчить свою судьбу.

Под ногами шелестят оборванные ветром зеленые листья. Бледный мотылек беспомощно трепыхается на асфальте.

Тошнота скребет внутри мягкими лапками. Он смотрит по сторонам: энтузиазм окружающего пугает. Сморщенная старуха воркует с маленькой девочкой.

— Закрой пальчиками глаза, посмотри на солнышко — видишь, какое оно красное сквозь пальчики?

ВИДИШЬКАКОЕОНОКРАСНОЕСКВОЗЬПАЛЬЧИКИ. Оно красное сквозь пальчики — с трудом разлепляется фраза. Оно красное сквозь кровавые пальчики.

Лапки, лапки скребут, скребут.

Он несколько раз судорожно расширяет грудную клетку — становится немного легче.

Мимо бредут пустоцветные глаза, носы с бесстыжими отверстиями. Бледные морщинистые губы смакуют сигарету. Вялые блины лиц несут себя в пространстве. Кислый голубоватый дым, побывав в мокром мешке легких, выталкивается наружу.

За углом, воровато озираясь, помятый тип тянет горлышко бутылки к ненасытной щели. Вот она, сопливаясь, охватывает зелень стекла, и коричневая жидкость с бульканьем устремляется внутрь.

Он сглатывает слюну: если его сейчас вырвет прямо на тротуар, как отнесутся к этому тени, скользящие мимо? Они существуют, отражают линзами глаз окружающее, в их мягких утробах кровь и соки совершают работу. Как эти двуногие брызжут красным, он насмотрелся: даже обрубок еще трепыхается, как

мотылек, которого вот-вот раздавят, цепляется крючковатыми пальцами за жизнь.

Судорога озноба проходит по телу. Улица вдруг становится угрожающей. Он еще не понимает, откуда исходит опасность, но шкурой, шестым чувством ощущает ее приближение. Она здесь. Совсем рядом.

Он замедляет шаг. Угол дома медленно приближается, коричневый, шероховатый. Сердце больно бьется в груди. Все вокруг перестает существовать — есть только эта пронзительная вертикальная черта заканчивающейся стены. Мир разделен ею на до и после, и в живых останется тот, кто будет осторожней!

Он машинально проводит ладонью по поясу — оружия нет! Пытается взять себя в руки. Что за дичь лезет в голову: там, за углом, никто не может подстергать его — ведь он дома!

Он делает еще несколько неуверенных шагов, шумно вздыхает, поравнявшись: так и есть — никого!

Торопливо идет к автобусной остановке. За детской площадкой, у помойки, урчит дизелем на холостых оборотах оранжевый мусоровоз. Резкий запах горячей солярки ударяет в ноздри. Завороженно он смотрит, как под “Камазом” растекается маслянистая лужица. Она все увеличивается, широкой полосой течет к скату дороги. Вот желтое пламя попадает на ее край, беззвучно бежит, жадно охватывает ее всю, и через секунды гудящая стена огня заслоняет машину. Из кабины кто-то опрометью выскакивает и бросается прочь. Стегает по нервам отчаянный вопль:

— Шухер! Шухер! Там боеприпасы!!!

Ноги прирастают к земле. За спиной надрывно режут клаксоны. Он поворачивает голову — из иномарки нетерпеливо машут руками.

— Эй, оглох, что ли? Дашь проехать или нет?

Дрожа, он отходит в сторону, отирает ладонью лоб.

Светлые капли машинного масла падают на асфальт.

— Где это ты застрял? — Сергей похлопывает его по плечу. — Ну, проходи, проходи, хань киснет! Ребята, плесните ему дополнительную дозу за опоздание.

Он заходит в комнату, пожимает руки, садится в глубокое кресло. Наконец-то он среди своих. Что бы ни случилось, они поймут, они будут рядом. Он облегченно вздыхает: хоть это-то у него еще осталось.

Лица улыбаются. Олежек, головорез из десантно-штурмового батальона, Гена-Гитарист, Серега.

— Как дела, Земляк? Что это ты какой-то чумной? Как Света поживает? Потягиваешь, небось, всюю, а?

Он смотрит в стакан. Наконец произносит:

— Дела — нормально. Света позавчера сказала: не могу с тобой встречаться, у тебя руки по локоть в крови.

— Да-а? Вот оно как! Ну, а ты что?

— Ничего... Развернулся да пошел.

— И правильно сделал! Не жалею о ней, Земляк, раз она такая тварь. Чистенькая. Суки! У них уже в двадцать мозги будь здоров начинают шевелиться, как компьютер: просчитывают любые варианты. Ты говорил, у нее папаша какой-то там профессор?

— Доцент.

— Вот-вот. Гнилая интеллигенция.

— Братишка, — Олежек кладет ему руку на плечо, — не горюй, баб на свете много! Давай лучше вмажем. Есть клевые слова, ты знаешь: весь мир бардак, все бабы бляди, и солнце гребаный фонарь, и земля на метр — проститутка! Хоп!

Стаканы сдвигаются. В его руке дрожит сосуд с серебристой влагой. Он смотрит на колеблющееся зеркальце в этом сосуде, медленно подносит к губам.

Водка приятно обжигает пищевод. Руки тянутся к закуске.

— Ты погоди, Олежек! Излагаешь ты правильно, но дай человеку детали прояснить! Ты думаешь, Земляк, это ее мыслишки насчет твоих по локоть рук? Черта с два! Там папа с мамой давно уже беседу воспитательную провели. Ну что ты ей можешь дать?

Что у тебя? Мрак позади, мрак впереди. Ну, поступишь в институт. А кто-то его уже заканчивает, пока ты парился в сапогах, Родину, так сказать, защищал! А кого-то уже тепленькое местечко с нехилой зарплаткой ждет. А сколько вокруг нее мальчиков таких чистеньких да благополучненьких ошивается!

— А я тебе по-другому — в ответку, — Олежек прихлебывает из бутылки пиво. — Мне по барабану, кто обо мне что думает. Ни одна падла при мне не пикнет по теме. Пусть только попробует — башку отшибу! Где, скажи мне, ребята? Где? Где Шура Лукин, где Володя Неверов? Там, там они все легли! Володьку мы отбили — страшно было глянуть. Лежит голый, весь исколот, яйца отрезаны, глаз нет. И собачки потравили... А попал-то к духам всего на два часа. Да после этого... В гробу я всех видел! Шура пять дней каких-то до дома не дожил. Сколько всего прошли, из разных передряг выгребали, а перед самой отправкой полялся Шурка с замполитом из-за ерунды. Ну, посадили в вонючую вырытую наспех яму — на “губу”. Я там тоже как-то отдыхал — мрак, больше суток не выдержишь: от трясуна околеешь. Опустили его туда на веревке, а тем днем как раз обстрел, и одна мина — точняком в люк! Ну и покрошило там всех... И после этого кто-то мне глаза еще будет колоть?! — Олежек перевел дух. — Ладно, давай наливай!

— Ребята, вяжите вы об этом, — у Гены в руках, как всегда, гитара. — Тем что ли больше нету? Давайте о чем-нибудь веселеньком! Серый, расскажи лучше, как мы телок с тобой недавно сняли.

— А-а! Это был прикол. Сидим в нашем парке, пьем пиво. По первой бутылочке, по второй, по третьей. Уже слегка похорошело. Я наблюдаю за обстановкой: нет-нет, да конные менты наезжают. И подгребают к нам две мартышки. Ребята, у вас нет закурить? Как же, как же, есть “Золотая Ява”, ничего? Ничего. Закурили, собрались уходить. Я присмотрелся: на прошмандовок вроде не похожи, симпатичные, свеженькие. Говорю, что, мол, девочки, неужели так прямо и пойдете? Посидите еще, выпейте

пивка. Мы, отвечают, не пьем. Ну, мы тоже не пьем, ха-ха, из мелкой посуды. Немного-то можно. Нехотя согласились. Посидели. Гена начал басни плести, мозги пудрить, как всегда. Я гну ближе к телу: как насчет телефончика? Дали. Проходит пара дней, звоню одной: Лена, как дела, что подельываешь? Может, встретимся, прошвырнемся, тудема-сюдема? Нет, говорит, времени нет. Чем же ты так занята? Мало ли чем?! Думаю, что за параша, какого черта тогда телефон давала? Она помолчала-помолчала и говорит так с придыханием: Сережа, говорит, у моей подруги, большое горе. Какое же? — спрашиваю. Она потеряла деньги. Ну-у, какое же это горе? И много? Кому как: много не много, а может, это были последние. Молчу, жду, что дальше будет. Тогда она виновато: у тебя деньги есть? Ну, есть. А ты можешь мне дать? Могу (еще чего ради!). А ты знаешь, как я отдавать-то буду? Нет... А у самого мотор уже стучит, конец того гляди ширинку проткнет. Она доверительно: а ты не догадываешься?.. Быстренько обсудили детали — когда, что. Звоню Гитаристу, говорю, бери ноги в руки, пару фуфырей да конец не забудь — телки на подходе. И я вот на этом самом диване имел удовольствие юную нимфу отодрать. Тело, м-м, резиновое — школу в этом году заканчивает — не умеет, правда, ни хрена... Сережа, говорит, я тебя прошу: не кончай в меня, я боюсь залететь. Давай, предлагаю, тогда в другие отверстия. Это как? Я не умею... Отстегнул ей бабок малеха, говорю, ты, правда, их не заработала. Как она на меня глянула!

— Земляк, ты послушай только этих обормотов! — Олежек от негодования сучит кулаками. — Телок тут, понимаешь ли, снимают, а товарищам своим, можно сказать, братишкам боевым, ни гу-гу, молчат как партизаны на допросе!

— А где ты шляешься вечно? Как ни позвонишь, тебя дома нет!

Он смотрит на блестящий строй бутылок, прикрывает глаза. Спиртное понемногу начинает действовать. Тело дрожит в тугом коконе тепла, мягко колышутся тяжелые волны, волнны,

воллнны, - плавно качнулся и на мгновение ушел из-под ног тускло поблескивающий пол транспортной “вертушки”...

Он прильнул к иллюминатору.

За толстым исколотым пылью стеклом плыли назад островерхие выбеленные дождями и солнцем палатки, одинокие грибки часовых; запыленные машины за колючкой автопарка весело мигнули стеклами; угрюмо дремавший в угловом окопе танк обреченно выставил наружу комариный хобот орудия.

Он смотрел во все глаза на проваливавшийся вниз и назад распятый слепящим сиянием полковой городок, на громоздившиеся вокруг серо-зеленоватые горы. Земля все уходила и уходила вниз — “вертушка” ложилась на заданный курс — исчезла обжитая лощина, и вместе с ней, он остро почувствовал это, оборвалось и исчезло что-то в нем самом...

Город окатил пестротой, запахами, звуками. Зарябило в глазах от грудей, бедер, обтянутых ягодиц.

— Вот это попка! Земляк, Земляк, а эту, эту бы отымел? — поминутно приставал Коля Тульский, ехавший домой вместе с ним.

— Спрашиваешь!

— Смотри, какая, смотри! Ну, Земляк, теперь живем!

Какая-то черненькая, смазливая глянула на него, улыбнулась.

Это невозможно: твердый асфальт под ногами, мелькание машин, толпы праздничных лиц. Это сон, это сейчас пройдет. Гудение моторов, шарканье подошв; хлопнула дверь телефонной будки; с треском распахнулась оконная рама. Звуки, звуки, звуки большого города.

В кассе железнодорожного вокзала молоденькое личико: подведенные тушью глазки полны отчуждениям.

— Билеты только на завтра!

— Давайте на завтра.

И легко как-то, и что-то тянет внутри.

— Что будем делать?

— Земляк, у тебя нет такого ощущения, что нужно бы..?

— У меня давно такое ощущение.

Заржавленные рельсы отстойника, заросшие травой, вели куда-то в дебри. Бесконечные слепые пакгаузы, бетонные заборы, любопытный столб водонапорной башни, усталые запыленные вагоны, назойливый запах креозота, накаленного на солнце металла.

— Куда ведешь, Сусанин?

— Здесь подойдет. Зато патруль не сцапает.

Разложенный газетный лист, придавленный консервными банками, аккуратно нарезанным хлебом, прозрачной длинногорлой бутылкой, слабо шевелил четырьмя конечностями.

— Ну, давай вздрогнем!..

Огненный бальзам, врачующий душу и брненное тело, зыбкое марево уже догорающего дня, удушливая душистость воскресших садов, лепестковая легкость полета, белокрылая слепоглазая метель. Век бы вековать в этой слепоглазой метели.

— Ребята, хорош, ребята, я все понял! — откуда-то вырвались крики, звуки ударов, вспороли тишину, прорвав тщательно намалеванную декорацию угасающего дня.

Он вскочил, пошатнулся, побежал по пружинистой, мягкой черной земле.

Две фигуры в сером, согнувшись над кем-то, попеременно опускали кулаки.

— Мужики! Двое на одного?!

— Пошел ты!..

Он с разбегу ударил ногой в чье-то туловище, услышал такой же утробный звук удара справа — это подключился Тульский. Бушует, бушует, сметает все напрочь белокрылый ураган.

Наклонился над лежащим.

— Что, дружок?

— Да бутылку не поделили.

— А ты откуда сам-то?

— Местный я, живу неподалеку.

— Что ж вы между собой не можете договориться?

— Т-так получилось.

— До дома-то дойдешь?

— Постараюсь.

— Дуй тогда!

Они вышли на привокзальную улицу: длинный ряд унылых фонарей под темным пологом сумерек. Два желтых глаза качались вдали.

— Тачка! Лови!

Через полминуты остановилась, глухо урча мотором. В салоне худощавый смуглый шофер в молчаливой улыбке растянул губы.

— Командир, подкинешь до ночлега?

— О чем речь, служивые! На дембель?

— Туда. Свое Родине отдали.

— И правильно. Садитесь, какой разговор. Довезу, переночуете, — и прищелкнул языком. — Есть такое местечко!

Усевшись в мягком полумраке, он потянулся к дипломату, молча достал и предложил приятелю недопитую бутылку.

— Командир, ты покатай нас сначала.

Водитель обернулся, блеснув зубами.

— Вы, ребята, при бабках? С гор?

— Оттуда.

— О, тогда я просто обязан устроить вам классную расслабуху!

Пластиковый стакан пошел по рукам; в салоне закачались слоистые облака табачного дыма. Машина беззвучно летела в чернильной мгле. Мелькали смазанные огни — золотистые, голубые, красные. Он чувствовал, что будто пророс корнями, каждой жилкой в окружающее, и все — и темнота, и легкое движение воздуха стало им самим: это он, мощный и всеобъятный, несся во мгле, не ощущая рева встречного ветра.

Время шло спотыкаясь. Где-то на окраине глотнули чистого, свежего воздуха.

— Слушай, командир, — Тульский поливал струей придорожные кусты, — а теперь вези нас к бабам!

Таксист рассмеялся.

— Есть, есть местечко! И берут недорого...

— Вот и заметано.

У деревянного двухэтажного дома, тускло заблестевшего пыльными мертвыми окнами, вышли из машины. Уже задувал прохладный ветерок, улица была пустынна.

Дверь открыл небритый хмельной мужик пожилых лет, огонь керосиновой лампы блеснул в прищуренных недобрых глазах. Пахнуло обжитым домом.

— Привет, Василий.

— Привет.

— Вот привез тебе солдатиков на постой.

— Добро.

Мужик, ослабившись, молча указал на высокую деревянную лестницу. По скрипучим ступеням поднялись наверх, прошли коридором. В квадратной комнате вдоль стен располагались два дивана, накрытых шерстяными одеялами, у окна, на столе, стоял мурлыкающий магнитофон.

В комнату бесшумно вошла девушка. Симпатичное личико, наивно-детские карие глаза, распущенные длинные волосы цвета спелой пшеницы. Одета в коротенький ситцевый халатик, на маленьких ступнях — трогательные тапочки с помпончиками. Молча улыбнулась. Они замерли столбами. Вплыла другая, постарше, по-хозяйски заставила стол бутылками и стаканами, нехитрой закуской. Они всё стояли, разинув рты.

Он вздрогнул, почувствовав прикосновение прохладной руки. На него вопросительно смотрели темные глаза. Пальцы легко коснулись локтя, позвали за собой.

Под нескончаемую блюзовую мелодию они методично глотали горькую холодную водку; пятнистая кожа, набрякшая от усталости, сошла безболезненно — слабым босым телам было вольготно. Он видел совсем рядом ослепительное юное тело,

полудетское личико со странными глазами. На нем раскрывался нежный алый бутон, увядал. Он то легко взлетал на заоблачные вершины восторга, то опять падал в пучину опустошенности... Когда забрезжил слабый рассвет, и он разомкнул тяжелые, слипавшиеся веки – на него в упор смотрели немигающие глаза, черные и бескрайние, как сгоревшая земля...

Его трясут за плечо.

— Очнись, Земляк! Пойдем проветримся.

Он удивленно смотрит: чужая комната, поблескивающая толпа бутылок на журнальном столике. Что такое?словно вынырнул из омута.

Гена тихонько перебирает струны:

— От героев былых времен
Не осталось порой имен,
Те, кто приняли смертный бой,
Стали просто землей, травой.
Только грозная доблесть их
Поселилась в сердцах живых...

— Эй, Гитарист, бросай инструмент, пойдем прошвырнемся!

Толкая друг друга и матерясь, они вываливаются из подъезда.

Небо налилось черным, задувает резкий ветер, взвихривает пыль и уличный сор.

Он глубоко вдыхает сырой сладкий воздух. Что-то знобит. Он прячет руки в карманы, втягивает голову в плечи, но ничего не помогает — тело покрывается мурашками, руки ходят ходуном, зубы звонко выстукивают дробь: нервы. Нервы совсем ни к черту.

— Ну, куда теперь рванем?

— В Сокольники, там я знаю местечко, где сладенькие шалашовочки так и виснут на шею.

Вращающийся зеркальный шар под потолком отбрасывает быстрые блики по сторонам. И хотя обширный зал почти пуст, несколько фигур уже ломается на светлом пластиковом настиле под

быстрый роллинговский рок. Остальные пока сидят на банкетках возле стен — тут и там вспыхивают огоньки сигарет.

Олежек окидывает молниеносным взглядом помещение.

— Вон там, кажись, девочки скучают.

Засунув руки в карманы, разболтанной походкой Олежек направляется в дальний угол.

— Здравствуйте, девушки! А мой член вам, случайно, не дядя?

Одна не выдерживает и прыскает, зажимая рот ладошкой.

— Не обращайтесь внимания, — Серега приходит на помощь. — Это у него такая манера знакомиться. Меня зовут Сергей, а этого нахала — Олежек. Ну, и наши корешки... Ребята, присоединяйтесь!

Он подходит, присаживается на край банкетки, отрешенно рассматривает ногти: эта проклятая сука-снайперша который день преследует его. Надо забыть. Обязательно забыть!

Закончив медленный танец, Олежек и Серый возвращаются на свои места с девицами. Краем глаза он замечает некое подозрительное перемещение на периферии.

Олежека обступает какая-то решительно настроенная группка молодых людей. Тот заводится с полоборота — отчаянно жестикулирует, его глаза лихорадочно блестят в полутьме. Отпустив пару реплик, парни направляются к выходу.

— Ну, пойдём, пойдём, щеглы! — ворчит Олежек.

— В чем дело, Олег?

— Да эти щенки, салабоны, говорят — не трогайте наших баб! Я их, конечно, послал, а они: давай, говорят, мужик, выйдем в сортир! Ты представляешь, Земляк, какие-то сосунки, недоноски мне — мне! — предлагают выйти в сортир?!

— У них перья, небось, на карманах — что ты думаешь, они так раздухарились!

— Да мне по барабану. Так, ребята, предупреждаю сразу: ваше дело — сторона. Я сам с ними побазарю.

— Ты что, обалдел?

— Спокуха: я ясно сказал — сам. Пойдите в сторонку. Всё, отдыхайте!

Олежек поворачивается спиной и уходит в фойе. Они недоуменно подвигаются за ним.

— Что он еще надумал? Ребята, надо быть наготове.

Высокая плечистая фигура Олежека в окружении нескольких человек удаляется в туалет, и тут же вся воинственная компания брызжет оттуда врассыпную. Спустя несколько секунд дружка с ухмылкой выходит следом.

— Так я и знал: в штаны навалят. Чеку не стал выбрасывать. — Олежек аккуратно вставляет шпильку с чекой в отверстие рычага и разгибает усики, затем подбрасывает на ладони черный ребристый корпус “лимонки”.

— Ну ты даешь! А если б кто с дури по руке взрезал?

— Ну и что — взлетели бы все к е... матери! Я ж вам сказал — стойте в стороне, — Олежек подбрасывает еще раз тускло отсвечивающую гранату и убирает ее в карман. — Однако телок мы отвоевали, а? Пойдем, пригласим ханочки попить, в койке покувыркаться!

Девочки на своих местах натянуто улыбаются.

— Девушки, айда с нами на хату! Что, не хочется? А что ж так? Или вам мамы не велят? Ну-ну. Бывайте тогда здоровы. Отваливаем, мужики, здесь нас не поняли.

Темные аллеи парка, едва освещенные редкими фонарями, пустыньны и тихи.

— Как я ненавижу всю эту дискотечную падаль, этих борзых сосунков! Засунуть бы их в сапоги — на перевоспитание!

— И в окопы.

— Вот-вот!

— Водка что-то совсем не берет. Может, залакируем беленькую пивком?

— На ночь глядя?

— А ты, Земляк, спать что ли собрался? Детское время. Хочется еще вставить что-нибудь кому-нибудь куда-нибудь!

— Ребята, — его собственный голос хрипл, — что-то я себя неважно чувствую. Пора, наверное, в койку.

— погоди, Земляк, сейчас пивка дернем и поедешь. Мы тебя немного проводим. Что-то ты сегодня действительно не того. Переживаешь? Зря.

Вечерний город полон огней. После пары банок “Амстердама-Максиматора” все становится простым. Прост и понятен огромный воющий город, горящий мириадами воспаленных глаз; прост троллейбус, влекущий его во тьму. Он всего лишь маленькая соринка в этой гигантской смердящей куче. И нет никакой разницы в том, что он и где он. Трясется ли на холодном дерматиновом сиденье, лежит ли в цинковом ящике. Мог бы быть вообще ничем — разбросанными взрывом сопливыми ошметками мяса — какая разница?! Тела нет — он не чувствует ни рук, ни ног. Глаза блуждают, смотрят на то, чего нет. Эти сутулые спины — разве они есть? Эти суесящиеся тени — разве есть??

В глухой пустоте он идет к дому — один, опять один. Опять ночь.

Квартира встречает гробовой тишиной. Он проходит в свою комнату, щелкает выключателем. Вещи, облитые электрическим светом, опять поменяли облик.

— Сына? — сонный голос матери за стеной.

Он что-то мычит в ответ.

Разбухший язык с трудом ворочается в горящей пещере рта. Мягкие лапки внутри скребут, скребут. От вещей, от голоса, от внезапно навалившейся тяжести собственного тела некуда деться. Руки онемели. Он с ужасом смотрит на растопыренную пятерню: это... Это не его рука! Она ему не подчиняется! Сейчас прыгнет и вцепится в глотку! Вот уже шевелит своими бледными червяками.

Он о силой закидывает ее за спину — тело разламывает тупая боль. Он валится на диван.

Прислушивается.

Какой-то шум! Нарастает, нарастает: где-то там, за тонкой мембраной оконного стекла, слышны хохот, вопли, гремит матерная ругань.

Щенки! Придумали каждый раз собираться здесь, у подъезда.

Брань усиливается, кто-то продолжает во все горло хохотать.

Мать за стеной вздыхает в полузабытьи: Господи, Господи.

Он вскакивает, бежит — мелькают комната, коридор, кухня, проем двери, красный кафель лифтовой площадки, лестница осыпается под ногами всеми своими ступеньками. Вот уже и улица — в глаза бьет мертвенный свет — черные фигуры торчат у лавочки.

В три прыжка он подскакивает, с силой толкает кого-то в грудь. Лица кругом белы; тело, цепляясь за него, медленно оседает на землю. Он ощущает смутно знакомую липкую мокроту на руках, на рубахе, наклоняет голову: в кулаке, заляпанное чем-то густым и черным, тускло блестит долгое лезвие кухонного ножа.

Он смотрит на свои руки, его голос хрипло звучит:

— Ну... кто еще?..

Громадные дома злобно щурятся на него; долговязые фонари, ссутулившись, уныло гнут тонкие выи; в отвратительном оскале шерится улица.

Наконец-то! Она не выдержала. Разодрала себя всю этим злобным хохотом!

И пусть всё обрушится в эту разверзшуюся пропасть!

Может быть, тогда наступит долгожданный покой.